

ЕЛЕНА ГАН

СУД СВЕТА

Елена Андреевна Ган

Суд света

Аннотация

«Честь имею поздравить ваше высокоблагородие с походом! – крикнул курьер, пристукнув шпорами и останавливаясь неподвижно у дверей.

Поход! Это известие застигло наше маленькое общество в самую поэтическую минуту военной жизни, – разумеется, мирного времени, – в декабрьские сумерки за чайным столом, когда кипящий самовар, нагревая парами морозный воздух хаты, стягивает в один тесный кружок всех присутствующих, а чай, разливаясь горячею струею в окостенелых членах, проясняет мысли, развязывает языки, придает живость и беглость разговорам. В такую-то минуту слово «поход», свалившись к нам будто с неба на чайный стол, потрясло все сердца электрическою силою...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

31

Елена Ган

Суд света

*Er ist dahin, der susse Glaube
An Wesen, die mem Traum gebar,
Der rauhen Wirklichkeit rut Raube,
Was einst so schon, so gottlich war.*

*Schiller*¹

*Qual cor tradisti
Qual cor perdisti
Quest' ora orenda
Ti manifesta.*

*Romane*²

Чсть имею поздравить ваше высокоблагородие с походом! – крикнул курьер, пристукнув шпорами и останавливаясь неподвижно у дверей.

Поход! Это известие застигло наше маленькое общество

¹ Строфа из стихотворения великого немецкого поэта и драматурга Ф. Шиллера (1759-1805) «Мечты». В переводе В. А. Жуковского: Уж нет ее, сей веры милой В твореньях пламенной мечты... Добыча истины унылой, Призраков прежних красоты.

² Строфа Феличе Романи, итальянского драматического писателя и либреттиста XIX века: Какое сердце ты обманул, Какое сердце ты потерял, Это время молитвы Пусть тебе откроет.

в самую поэтическую минуту военной жизни, – разумеется, мирного времени, – в декабрьские сумерки за чайным столом, когда кипящий самовар, нагревая парами морозный воздух хаты, стягивает в один тесный кружок всех присутствующих, а чай, разливаясь горячею струею в окостенелых членах, проясняет мысли, развязывает языки, придает живость и беглость разговорам. В такую-то минуту слово «поход», свалившись к нам будто с неба на чайный стол, потрясло все сердца электрическою силою. Чай забыт, сигары и трубки отброшены, – вопросы, говор, суета, как будто завтра назначено выступление. Не прежде как по прошествии часа тревога утихла, все уселись на прежние места и пустились хладнокровнее рассуждать о будущем житье-бытье.

Перемена квартир – эпоха в военной жизни, зато и переход стоит доброго периода, – но о нем в ту пору еще не думают. Офицеры обыкновенно хлопочут, много ли вокруг их будущего жилья богатых помещиков, гостеприимны ли они, любят ли военных? Командир, вооружаясь счетами, раскладывает выгоды и невыгоды квартирования в такой-то губернии, а жена командира мысленно укладывает в обозы свои чепцы и тюрбаны, если она заражена манией мод, книги и ноты – если она имеет претензию на просвещение, – и заранее размещает умственно в огромной походной карете своих детей, нянюшек, горничных и шпицев.

Месяца за два начинают приготовления, хлопоты, и вот настает жданная минута, – трубачи, трясясь на серых лоша-

дах, дают сигнал, конные строи трогаются, затягивают удалую песню и с богом выступают на широкий путь!

Привалы, обеды, ночлеги, дневки следуют длинной чередой, не разнообразя даже праздного времени; окрестности изменяются медленно, как декорации на провинциальном театре... Питомец Аполлона, искусно из всего выжимающий поэтические сравнения, быть может, уподобил бы и наше шествие какому-нибудь идиллическому лучаю жизни человеческой, но мы, знакомые с походом не по живописным описаниям литераторов, вышедших в отставку, а на деле, не можем приискать ему вернейшего сравнения, как с скучной, вялой прозой: ведь и ее разнообразят запятые и точки!

Вот последний переход; обетованный край близок! – пришли, расположились, осматриваешься; новые лица, обычаи, новые отношения, всякий шаг в общество – словно шаг по замерзшему льду: ощупываешь и пробуешь, где надежнее поставить ногу. Впрочем, молодым людям не долго освоиться: две-три кадрили, и они знакомы, дружны, влюблены; все затруднения остаются на стороне дам, жен офицеров и командиров.

В обществах так любят танцоров с блестящими эполетами, что их не подвергают строгому разбору; помещицы и горожанки принимают их с благоволением, помещики и горожане приглашают их на обеды и вечера, в угождение своим повелительницам. Но жены военных, – о, это другое дело! Судьи женского рода осматривают своих вновь прибывших

соперниц не весьма доброжелательным оком, строго разбирают их наряды, черты лиц, характеров. Это две чуждые между собою нации, две разнородные стихии, – не легко и не скоро соединяются они в одно дружное целое.

Что же, если, по несчастью, одна из этих налетных госпож отличается чем-нибудь от прочих – красотой, талантами, богатством! Если злодейка-молва, опережая ее, приносит весть о ней на новые квартиры и еще до приезда ее возбуждает любопытство, подстрекает соперничество, язвит самолюбие, задает оскому зависти, – и эта тощая, желтолицая фурия заранее точит зубок на незнакомую, но уже ненавистную жертву?

«Но что может так сильно расшевелить страсти женщин? Какое превосходство, какое отличие?» – скажут мои добрые читательницы. Ах, боже мой! повторяю: маленькое отступление или выступление из общего круга обыкновенностей; рельеф на гладкой стене общества. Вообразите себе поручицу чудной, поражающей красоты, капитаншу, уроженку Северной Америки, переброшенную случаем с берегов Миссисипи на берега Оки вместе с миллионом приданого или хоть с приложением какого угодно чина, писательницу, то есть женщину, написавшую когда-нибудь в досужный час две-три повести, которые попались впоследствии под типографский станок.

«Что? Капитанша или поручица писательница?.. Да это вздор! Этого нет и быть не может! – возразят мне многие и

многие. – Правда, писала Жанлис, так она была придворная, графиня! Писала Сталь, так отец ее был министром, – обе получили высокое образование, но кап...» Однако ж предположим, хоть для шутки, что в толпе вновь прибывших офицеров является рука об руку с одним из них женщина-писательница. Все заранее знают об ее прибытии, собирают об ней слухи, рассказывают вести бывалые и небывалые, – наконец она прибыла, она здесь...

Ах! Как бы ее увидеть! Она, верно, носит на челе отпечаток гения; верно, только и говорит о поэзии да о литературе; высказывает мнения свои вроде импровизации, употребляет технические термины, носит с собою карандаш и бумагу для записывания счастливо мелькнувших идей!..

С подобным предубеждением собираются осмотреть прибывшую писательницу.

Проходят неделя, две...

– Ma chere³, приезжай в четверг ко мне обедать.

– А что у вас, именины?

– Нет, у меня обедает мадам *** – знаешь, писательница.

– Ах, очень рада, посмотрим, что за писательница.

– А вы, Авдотья Трифоновна, хотите познакомиться с ней?

– Не то чтоб познакомиться, а так, взглянуть приеду.

– Вы читали ее сочинения?

– И нет! Есть-таки мне время читать этот вздор.

³ Моя дорогая (*фр.*).

– Да что такое написала она?

– Так себе – пустячки, верно, выкрадено из «Revue etrangere».

– Ах, нет, машерочка, чисто подражание Марлинскому.

– Хе, хе, хе! Далеко кулику до петрова дня!

– Позвольте уж и мне попользоваться в четверг вашим обедом! – восклицает воспеватель всех торжественных происшествий.....ского уезда. – Позвольте ради вашей красоты! Я давно желал встретиться с ней, посудить об ее уме и талантах, задать некоторые вопросы, высказать откровенно мое мнение насчет ее творений, – гм... думаю, она примет с благодарностью мои советы! – прибавляет он с блаженным самоубеждением, поглаживая розовые отвороты своего голубого бархатного жилета.

– Ах, душонок! Я слышала, что если найдет на нее вдохновение, то где бы ни была она, на балу, в карете или на берегу реки, она тотчас начинает громко декламировать.

– Ах, если б в четверг нашло на нее вдохновение! – восклицает наивная уездная барышня.

– А знаете, ведь говорят, что все героини ее романов списаны с нее самой.

– Как так?

– Да просто, кто ни возьмет в руки перо, то, смотри, себя и опишет.

– Ну, как же это можно, помилуйте? Ведь ее героини не все в одной форме испечены! Эта – деревенская девочка,

та – светская дама, одна восторженна, другая холоднее льда, первая русская, вторая немка, третья дикарка, башкирка что ль?..

– Э... да вы забыли, – восклицает догадливый поэт, – что она не просто женщина, а женщина-писательница, то есть создание особенное, уродливая прихоть природы, или правильнее: выродок женского пола. Ведь рождаются же люди с птичьей головой и козьими ногами, – почему ж не допустить, что душа ее, созданная по образу и подобию хамелеона, прикинется такой-то, спишет с себя портрет да и обернется в другую форму.

– А... видите...

– Ну, разве что... – произносят нараспев две-три барыни, слепо верующие во все сказания великого поэта.

– Так скажите ж, пожалуйста, – говорит почтенная старушка, поседевшая в святом незнании вещей мира сего, – скажите, она вот так-таки и пишет, как в книгах в слово печатают? То есть, так сказать, как она напишет, то слово по тому и напечатают?

И на утвердительный ответ она изъявляет желание видеть женщину, которая умеет так писать, как в книгах печатают.

Настал роковой четверг, бедная писательница едет в невинности души своей обедать, не подозревая, что ее приглашали напоказ, как пляшущую обезьяну, как змея в флаanelевом одеяле, что взоры женщин, всегда зоркие в анализе качеств сестер своих, вооружились для встречи с нею сотнею

умственных лорнетов, чтоб разобрать ее по волоску от чепчика до башмака; что от нее ждут вдохновения и книжных речей, поражающих мыслей, кафедрального голоса, чего-то особенного в поступи, в поклоне, и даже латинских фраз в смеси с еврейским языком, – потому что женщина-писательница, по общепринятому мнению, не может не быть ученой и педанткой, а почему так? Не могу доложить!..

Боже мой, ведь как подумаешь, как многие всю жизнь свою сочиняют и беспощинно рассевают по свету небылицы, – и никому не вздумается выдавать им патентов на ученость оттого только, что они сочиняют словесно! За что ж, чуть бедная писательница набросит одну из вышереченных небылиц на бумаге, все единогласно производят ее в ученые и педантки?.. Скажите, отчего и за что такое непрошеное талантопочитание?

И потом, она ни с кем не может сойтись. Одни воображают, что она тотчас схватит их слепок и так-таки живьем передаст в журнал. Другим вечно мерещится на устах ее сатанинская улыбка, в глазах сатирическая наблюдательность, предательское шпионство – даже и там, где, право, всякое шпионство было б ковшиком, черпающим из воздуха воду, – все в ней будто не так, как в других женщинах... да не знаю что, а истинно что-то не так!

Посудите же по этому бледному очерку тысячной доли того, что достается бедной писательнице, каково бродить ей по свету, быть везде незваной гостьей, вечно ознакамливать-

ся. Едва узнают ее в одном месте, едва привыкнут видеть в ней *женщину* без жесткого прилагательного «писательница», едва приголубят добрые люди, – как вдруг поход, перемена квартир – начинай снова знакомства с азбуки.

Впрочем, от последнего неудобства я была избавлена в Новороссийском крае, где нам назначили квартиры в большом казенном селе, вокруг которого, на пространство десяти верст, не было ничего более, кроме степи, болота, песков да таких же казенных селений.

Ехать с визитом к людям незнакомым, за пятьдесят верст, – довольно трудно и скучно! Но, не застав дома хозяев, ночевать в их деревне, в грязной хате мужика, рядом с его родными, потомками и домашними животными – это высшая из неприятностей. И вот чему я была подвержена в один вечер, вот чему обязана – сладчайшими минутами моей жизни. При таком сознании как не поместить хоть в скобках: исповедимы пути всевышнего!

Разгневанная моим неудачным посещением, я сидела, прижавшись в угол под образами, в ожидании чая, для которого хозяйка кипятила воду в жирном горшке. Вокруг, на печке и под печкой, копошилось и визжало ее семейство. Подалее у дверей хозяин толковал о чем-то с другим приезжим мужиком. Невольно, уж, конечно, не из любопытства, я стала прислушиваться к их разговорам: хозяин в самых смешных и гневных выражениях жаловался на скупость помещика; приятель его, напротив, осыпал такими благословениями своего

владельца, отзывался о нем с жаром, столь несвойственным флегматическому хохлу, что я вмешалась в их разговор, желая узнать имя редкого филантропа-помещика.

– Дмитрий Егорович Влодинский, – отвечал мне крестьянин.

Влодинский?.. Эта фамилия как будто мне знакома, не знаю, где, когда я слышала ее, но только давно, давно. Разговаривая далее, я узнала, что этот Дмитрий Егорович Влодинский холост, был очень богат, но еще в молодых годах раздал все имение детям сестры своей, оставив за собою не более пятидесяти душ крестьян; что одна из его племянниц, отказавшись, подобно ему, от брака, поселилась с ним, приняла на себя все хлопоты хозяйственной части; нежит и любит его, как отца; и что эти странные люди живут затворниками, совершенно отрекшись от всякого сообщения со светом.

Вот что узнала я из запутанных речей крестьянина, когда, вздумав спросить его об имени племянницы Влодинского, услышала имя и фамилию давно знакомой мне девицы, с которой я росла и воспитывалась вместе до четырнадцати лет.

В тот же вечер мой собеседник обращен в Меркурия дружеской переписки, и как Влодинский жил верстах в двух от моего ночлега, то на другой же день с рассветом я получила ответ, приглашение и через полчаса очутилась в объятиях моей лучшей, любимой подруги, Елизаветы Николаевны З.

Нужно ли говорить, что наше знакомство, наша дружба

возобновились, что мы виделись очень часто, хотя я лишена была удовольствия принимать ее у себя в доме. Она более двенадцати лет не переступала за рубеж своего имения, не покидала ни на один час своего отшельника-дяди. Даже в моем присутствии она делила время между мною и им, потому что Влодинский был для меня, как и для целого света, невидим, и в продолжение двухлетних посещений моих я видела его всего два раза, и то мельком, случайно.

Да не заключат из этого, что он был человеконенавистник, капризный калека, подагрик или, по крайней мере, натуралист, обративший свой кабинет в кладбище всех родов животных и насекомых. Нет, он не страдал ни одной из хронических болезней; крестьяне, не только его села, но даже всех окрестных деревень, благословляли его щедрость и всегдашнюю готовность служить ближнему; характер его был постоянно тихий, кроткий, без малейшего оттенка прихоти или капризов; и он не имел особенного пристрастия ни к одной науке, хотя был очень сведущ во многих. Он не был даже стар годами – по словам племянницы, ему едва минуло сорок лет, – но страсти или горе устарили его, и по наружности ему можно было дать семьдесят. Лицо его иссохло, изрылось морщинами; черты, чрезвычайно правильные и нежные, казались еще нежнее от матовой бледности и серебристо-седых волос. В его глазах без света и без взора отражалась такая истома, такое мертвое бездействие всех чувств, что с первого взгляда в нем виден был жилец не нашего мира.

Восемнадцать лет прошло с тех пор, как он, вышедши в отставку в первом цвете молодости, зарылся в уединении, прервал все сношения с людьми, отдалил от себя все знакомства, все удовольствия общества и с того времени ни разу не изменял своему отшельническому образу жизни.

Но, умерши для себя, он, казалось, жил двойною жизнью для других. Самое высокое, чистейшее самоотвержение было законом его бытия; броситься в воду и в огонь для спасения последнего нищего, лишиться себя необходимого для обогащения бедняка, являться всегда и везде непризванным по горячим следам несчастья – все это служило пищею, воздухом его жизни. Сколько ни даровал ему господь способностей ума, сил душевных и телесных, сокровищ земных, все, без изъятия, расточил он для других, все отдал другим, как будто собственно ему ничего не было нужно.

Он имел одну только сестру, которая давно не существовала; все дети ее были воспитаны и пристроены им, и до какой степени боготворили они его, лучшим свидетельством тому была моя подруга, принесяшая ему в дар всю свою жизнь.

Девушка эта, в семнадцать лет, созданная телом и душою для украшения общества, отреклась от него, от счастья семейного быта, она облеклась в схиму для того только, чтобы нежными заботами отдалять от дяди беспокойства домашней жизни, вниманием и предупреждениями покоить его измученное тело и порой своею беседой отгонять от ума

его страдальческие воспоминания. Лучшего, высшего утешения – врачевать душу скорбящего – она была лишена, не зная, не догадываясь даже о причине вечного горя, точащего его, как червь могильный, и так же глубоко, так же недосыгаемо зарытого в груди его.

Она не ведала, какая гроза испепелила его сердце, иссушила начало всех жизненных сил; что вытолкнуло его из круга людей, их злоба или собственные преступления, ненависть к ним или к самому себе; не видела, отрады ль или прощения вымаливал он у неба, и слезами, которых одни следы видела она по утрам, поливал ли он язвы своего сердца, или силился смыть ими кровавые пятна неизгладимого греха... Все было и оставалось для нее тайною; и, однако ж, она превозмогла все препятствия, вырвалась из объятий родных, презрела приманки света, настойчивостью поборола самое сопротивление дяди, который долго отталкивал ее жертву, и заперлась с ним в его убежище делить с ним тяжесть его душевного бремени.

В околотке странно отзывались о Влодинском, приписывали ему много романтических происшествий, поговаривали о каком-то страшном событии, о преступлении. Одни рассказывали, будто в суматохе народов и властей он влюбился ошибкою в какую-то принцессу; чувствительные девы той страны еще наигрывали меланхолический вальс, который, по словам их, он сочинил когда-то в припадке любовного безумия; другие видели в нем сколок Борнгольмского изгнания.

ка и хлопотали только о том, что сестра была гораздо старше его. Отрекись он от света немного позже, когда в области поэзии явился новый, блестящий метеор, изумивший мир дикою гармонией своих песен, Влодинского непременно произвели бы в Чайльд Гарольды, в Лары, но, к несчастью, в ту пору ни Байрон, ни сплин не были еще знакомы степным помещикам, а после все свыклись и с житьем соседа-отшельника и, как водится; забыли о нем.

Однажды, зная, что в то время он гулял в саду, я осмелилась войти в его кабинет. Голые стены, в беспорядке расставленные столы и стулья да огромная библиотека – вот все, что представилось моим взорам. Книги лежали всюду разбросанные в странном смешении: философы и риторы, классики и романтики, поэты и прозаики валялись на полу, на столах, на длинном турецком диване. Видно было, что ими занимаются часто, но без цели, не с удовольствием, а для сокращения длинного, гнетущего времени; что берутся за первое попавшееся под руку и нередко отбрасывают, не окончив страницы, как лекарство, слишком слабое для врачеванья столь сильных ран. В остальных комнатах заметно было то же небрежение хозяина ко всем удобствам жизни; в доме, как и в саду, еще проявлялись следы прежней роскоши, но все было запущено, пусто, дико. Словом, в этом жилище всякий угол свидетельствовал о присутствии человека, живущего без цели, без желаний, горемыки, который встречает и провожает череду однообразных дней, как каторжник,

осужденный тащить бечевой тяжело нагруженные суда и вечером отправляться не к отдыху, а в обратный путь к тому же месту, откуда завтра должен был начинать тот же труд.

Чье любопытство не заменилось бы состраданием при виде столь неутешной, безотрадной скорби? И какое сострадание не перелилось бы в благоговение в присутствии двух существ, идущих дружно рука об руку не на пир жизни, а ко сну могильному; идущих вместе ровными шагами, но разных душой, чуждых в думах, в слезах, всегда с готовою улыбкой, с одобрительным словом для другого, с одинокой, безраздельной кручиной для себя?

Однообразны были наши свидания с моей подругой, нешумны и неговорливы наши беседы, но я не отдала бы их ни за какие удовольствия многолюдных обществ. После двухлетнего пребывания в...ском уезде семейные дела отозвали меня на другой конец России, и когда месяцев через пять я возвратилась домой, меня встретили вестью о смерти Влодинского.

Тогда чаще прежнего я стала навещать его осиротевшую племянницу. Неутешная в своей потере, она благословляла кончину, успокоившую страдальца после столь долгих, неусыпных мучений. Образ жизни ее ни в чем не изменился: она так отвыкла от людей, что не могла снова сблизиться с ними. Двенадцать лет привычки заставили ее полюбить уединение и одинокую жизнь. Несколько лет еще она исполняла на земле высокое предназначение, начатое ее дядею,

благодетельствовать всем и каждому. Казалось, она оканчивала недожитое им существование, шла тем же путем, к той же цели, до которой он достиг только немного ранее; и, подобно ему, сошла она в могилу, не унеся с собой ни малейшего сожаления об отходе своем из света, но с разницей: он жаждал уйти от жизни, он звал смерть, а в ней ни жизнь, ни смерть не возбуждали ни желаний, ни страха: обе представлялись ей равно неизведанными. Она была, но не жила в мире. Ее бытие было только дополнением другого бытия, добровольным даром тому, у кого судьба и люди все отняли.

По смерти Влодинского под изголовьем его найден пакет с надписью на имя племянницы. То была его предсмертная исповедь – описание его молодости, его страстей, немногих минут, поглотивших всю остальную жизнь, и копия письма, которое всегда хранилось на груди страдальца и по его желанию опущено с ним в могилу.

То и другое достались мне и долго таились в моем портфеле, скрытые от всех взоров. Но теперь, когда не осталось на земле человека, близкого лицам, участвовавшим в этой печальной драме, когда все свидетели ее исчезли из круга живущих или, рассеявшись по свету, забыли об обыкновенном в обществе происшествии, теперь я решаюсь представить моим читателям рукопись Влодинского как очерк двойного бытия женщины, картину светлой и чистой души, торжественно сияющей в своем внутреннем мире, и лживого отражения ее в мнениях людей, в этом предательском зеркале,

которое, как поцелуй Иуды, лстя нам в лицо, готовит гонения, позор и часто даже смерть за плечами.

Вот копия, списанная мною слово в слово с записки Володинского и с заветного письма.

«Настает время нашей разлуки. Я чувствую, близка блаженная минута освобождения моего от уз земных. Конец жизни, страданиям! Душа рвется в обетованную обитель вечного, радостного мира.

Но, покидая землю, не хочу остаться должником твоим, мой единственный друг, моя отрада; не хочу уйти из мира, не поделившись с тобою всем, что счастливало, терзало и мучило мою душу. Давно хотел я высказать тебе причину моего отречения от света; не раз в твоём присутствии роковая тайна трепетала в устах моих; мне были укором твоё бескорыстное самозабвение, твоя трогательная преданность, твоё неведение, кому бросила ты в жертву невозвратимую пору забав, любви, наслаждения, для кого и с кем погреблась заживо в могилу... Прости, прости... Не мог я передать тебе словесно печальной истории моих заблуждений, моего греха; не смел вызывать разом всех воспоминаний моей молодости. Рыдания задушили бы голос в груди моей, кровь, а не слезы хлынули бы из глаз... И еще, прости! Я боялся, чтоб когда-нибудь впоследствии, хоть неволью, не мелькнуло во взорах твоих сострадание или сожаление: они для меня нестерпимы, я навек отринул их от себя...

Ни с кем не делился я блаженством моим; не искал ни-

чьей руки для опоры в минуту бед и одиночества; не выпрашивал ничего пособия для совершения черного, страшного преступления. Сложу ли теперь бремя кары своей на чужие рамена? Растоплю ли горе свое чужими слезами? Усыплю ли жало совести на чужой груди чужими софистическими утешениями?..

Нет, нет! Судьба, осиротив меня еще в младенчестве, ясно указала мне путь мой. Одиноким в играх ребяческих, одиноким в жизни, в любви, в заблуждениях, в самой попытке раскаяния, сойду одиноким в могилу с гордым убеждением, что все, чем награждало меня небо, все, чем жалили люди, чем громил порою сам ад, все принимал я в душу свою, все хранил в ней безраздельно и безвозвратно.

Есть что-то утешительное в добровольном постоянном одиночестве. Пока хоть одна мысль наша сообщается с мыслью другого человека, наши связи с людьми не разорваны: он держит ключ к выражению лица нашего, может предугадать движения нашего сердца, и есть минуты, в которые вы как будто зависите от него. Тот только может назваться полным властителем своим, кто умел зарыться в самого себя, на чьем лице улыбка и морщина остаются для всех иероглифами, чьи слезы в сильнейшем приливе не выступают из берегов души, но отливаются обратно в нее, все так же горькие, кипящие, непроницаемо глубокие.

И не легче ль чувствовать слезу, капнувшую на сердце, чем видеть ее замерзшею на холодной груди равнодушного?..

Я свыкся с моим молчанием прежде, чем ты протянула мне руку на вечный союз в горе и отчуждении от света; чувства мои окрепли в своей оболочке, воспоминания вросли в душу: я должен теперь их вырвать с кровью своей, чтоб поделиться ими с тобою!.. К тому ж горе, как лампада, истрачивается в свете, разливаемом вокруг: я хранил свое в погребальной урне; оно тлело без искр, без воздуха, оно было вечно, потому что пища его ничем не истощалась.

Да! Я хранил и берег мое горе, я питался, жил им, как некогда жил царь-скиталец, питаюсь ядами... Прости же, что я не приглашал тебя на мой одинокий пир, не подносил тебе чаши питья моего. Теперь, когда я допил все, до последней капли, возьми опорожненный сосуд, меру моих страданий; прими последние силы моей памяти, чувств и жизни... Из этих листов ты узнаешь все и порадуешься моему отходу из мира...

Тебе известны подробности моего детства, воспитания, раннего сиротства; ты знаешь, что мать твоя, старшая меня десятью годами, давно была замужем и жила в отдаленной губернии, в то время как я, едва спущенный с помочей, очертя голову бросился на поприще, тогда шумное и грозное, военных действий.

Перевороты, потрясавшие одряхлевшую Европу, падение царств, невероятное возвышение Наполеона, его гигантские подвиги, неутолимая жажда славы, его геройство, гений, гордая самонадеянность и постоянные успехи во всех предпри-

ятях доводили до высшей степени напряжения дух молодых людей. Казалось, воинственные времена Греции и Рима воскресли; все, что могло владеть оружием, строилось под реюющие знамена; никакое возвышение не казалось невозможным, никакая степень величия недоступною.

Увлеченный общим стремлением, я также предался честолюбию, грезам о славе, и душа моя закрылась для всего, что не прославлялось звуками трубы, не превозносилось кликами народов.

Так прошли первые шесть лет моего вступления в службу до 1815 года, и только с того времени можно считать мое вступление в свет, потому что до той поры жизнь бивуачная не позволяла мне ознакомиться с жизнью света; я видел ее издали, урывками, переносясь из гостеприимных хором русского помещика в неприязненные общества польских панов, из будуара парижанки в чистенькие хозяйские домики Германии.

В этой деятельной, полной тревог и разгула жизни, между вчерашней оргией в палатке и приготовлениями к завтрашней битве некогда было философствовать, разбирать людей и свет анатомически, поверять их нравы с теориями великих истин, которых так же много в мире умственном, как мало последователей их в сущности. В голове моей и в сердце не было ничего определенного, самобытного; из моих юношеских, восторженных понятий, перепутанных с холодными образчиками жизни существенной, из анекдотов и мнений

товарищей, из чтения первой попавшейся в руку книги образовался самый пестрый хаос в моем разуме. Я шел с завязанными глазами; действовал, не отдавая себе отчета ни в одном из поступков своих; мыслил про себя и вслух, никогда не разбирая, почему так, а не иначе. Остроумие принимал за высшую степень ума; готовность подраться с приятелем, даже убить его из пустого недоразумения, – за доказательство рыцарской храбрости и благородства. С женщинами я был почти не знаком, но, благодаря самохвальству товарищей и несколькими французским романам, имел о них не весьма выгодное понятие. Мужчины были, по моему мнению, венцом всей видимой цепи творения; женщину считал я звеном второстепенным, переходом от мужчины к созданиям бессловесным: она казалась мне красивым, но не стоящим большого внимания цветком, растущим для минутного развлечения человека в часы его досугов. Что касается до любви, то я ставил ее не выше анекдота, рассказанного за бокалом шампанского, стрельбы из пистолета в цель и чтения тупой эпитафии... Таковы были мои идеи и мой характер на двадцать втором году жизни; таким застало меня мое перерождение.

Во время общего движения войск, идущих частью для занятия квартир во Франции, частью обратно в Россию, наш полк остановился в Германии, в небольшом городке над Рейном. Там я занемог сильною нервной горячкою, и когда полк получил повеление выступить, я не мог отделить головы от

подушки. Собрав свидетельства всего медицинского факультета, мой командир решил оставить меня до выздоровления на месте и поручил попечениям своего приятеля, барона Горха, человека преклонных лет, беспосемейного, душевно преданного русскому правительству. Тотчас по выступлении полка барон перевез меня, лежавшего в бесспамятстве, в свой загородный дом и там, не прежде как по прошествии месяца, я начал медленно возвращаться к жизни. Едва наступала весна. Поместье барона Горха, расположенное в каком-то ущелье между горами, было окружено со всех сторон лесом и густым парком; ветер выл день и ночь в обнаженных деревьях, туман постоянно застилал окрестность, все было уныло и дико. Самый дом барона, принадлежавший к зданиям времен феодальных, был полуразрушен. Большая половина его стояла необитаемая и поддерживалась только гордостью владельца, который чтит ветхие стены замка как свидетельниц прошедшего величия своих предков. Даже комната, в которой злой медик осудил меня на продолжительное заточение, могла бы служить типом комнат рыцарских времен: высокая, со сводом, с карнизами, в которых оружие и дубовые листья перевивались с гербами баронов Горхов, с окном готической архитектуры, обращенным в сад; с массивною, неуклюжею мебелью и с рядом портретов во весь рост, которые не раз в припадках моей болезненной раздражительности бесили меня важной, надутую осанкой, в особенности женщины, жеманством, с которым стояли они, выпря-

мившись, перетянутые, как осы, с букетами огромных роз в руках. Все эти предметы глубоко врезались в моей памяти, смешались с воспоминаниями о колыбельной песне, об играх с няней; казалось, будто, возрождаясь к жизни, я вторично начинал бытие с детского возраста; я был слаб, прихотлив, как младенец, и, как он, ни в чем не подчинялся голосу рассудка.

Когда мне сказали в первый раз обо всем случившемся во время моей болезни, я едва снова не впал в горячку. Мысль, что я остался один, как подстреленный журавль, на чужбине, когда все друзья и товарищи пошли домой, приводила меня в отчаяние. Я умолял всех и каждого отпустить меня, хотел скакать день и ночь верхом, чтоб догнать полк, когда не мог еще подниматься с постели без помощи другого. Барон и его домашний врач навещали меня регулярно два раза в день, проводили в моей комнате по полчаса и, уходя, оставляли меня одного со старым слугою, который очень усердно за мной ухаживал. Кроме этих трех лиц, я не видал ни одной живой души в целом замке.

Нужно ли говорить, что я грустил и тосковал невыразимо? Дни тянулись скучною вереницею, бесконечные, как минуты страстного ожидания. Одинокий, всеми покинутый, пригвожденный к постели, не раз метался я в ней, проклиная свой вэдуг, и в досаде, в нетерпении жаждал перемен хоть в том, что меня окружало, ловил малейший шорох, вслушивался во всякий скрип дверей, изобретал для себя тысячу за-

нятий, чтоб хоть немного сократить время: то вызывал в памяти давно затверженные стихи, то считал мечи в карнизах и букли почтенных бабушек и тетушек барона, но чаще всего сидел, поддерживаемый подушками, против окна, глядел на колебание едва зеленеющих ветвей, и если случалось, что ранняя птичка, кружась и плавая в воздухе, с криком неслась в поднебесье, я провожал ее грустными взорами и завидовал свободе воздушной жилицы.

В подобном положении застигли меня однажды сумерки. Темнело; колокол протяжными ударами возвестил семь часов; мой старый слуга Христиан оставил меня, по обыкновению, одного, полагая, что в эту пору я непременно должен спать. Тогда, глядя без мыслей на садовую тропинку, которая, начинаясь под моим окном, терялась вдали между густыми деревьями, я заметил человеческую фигуру. Это явление так было необычайно в замке, что я обратил на него все свое внимание. Фигура приближалась довольно скоро; я мог уже отличить темный цвет ее одежды; еще несколько мгновений, и я ясно увидел женщину, окутанную плащом, с вуалем, небрежно наброшенным на голову.

Женщина? Здесь? Одна?.. В стенах шартрезского монастыря не сильнее удивило бы меня ее появление. Я смотрел на нее с напряженным вниманием, напрасно стараясь разгадать загадку ее присутствия. Она долго ходила вдоль тропинки; при исчезающем свете дня я не мог рассмотреть ее лица, тем более что кровать моя стояла довольно далеко от

окна; но по ее походке, по быстроте движений я заключал, что она была молода, и в воображении уже приискивал для нее сходство с чертами прежде знакомых мне красавиц. По-темнело; она скрылась в чаще парка; я снова остался один с моими догадками и предположениями.

До сих пор не могу объяснить себе причины странного от-вращения, которое я почувствовал к расспросам об этом явлении у моего слуги. Он воротился, я не сказал ему ни слова и предпочел теряться в лабиринте моих фантазий. Ночью в лихорадочном бреду не раз казалось мне, будто одна из хорошеньких бабушек моего хозяина отделялась от холста, спускалась через окно в сад, ходила вдоль тропинки и потом, вставляясь в раму, снова принимала безжизненное положение...

Конечно, странное впечатление, произведенное во мне появлением женщины в саду, должно приписать расслаблению и болезненной раздражительности нервов. В истоме бездействия душа моя, жадно бросаясь ко всему, что могло принести ей малейшее развлечение, прильнула всей силой воображения к единственной точке, поразившей ее новостью и нечаянностью. Утром я проснулся с мыслию о прогуливающейся красавице: такую я вообразил себе ее; и признаюсь, что, если бы под темным плащом и покрывалом представилась мне безобразная старуха, я счел бы себя хоть на время истинно несчастным.

Барон и доктор посетили меня в обычный час; день про-

шел по заведенному порядку; начало смеркаться, и я с нетерпением стал выжидать минуты, когда слуга оставит меня в одиночестве. Он ушел, и ожидаемая вскоре явилась, на той же тропинке, в той же одежде. Она ходила, как накануне, быстрыми шагами, то приближалась ко мне, то удалялась, но напрасно я утомлял зрение, пытаясь рассмотреть черты ее: она представлялась мне неясно, сквозь двойной туман отдаления и сумерек, как призрак давно виденного сна. Однажды только ветер, сорвав с нее покрывало, вскинул его на сук дерева; тогда она отбросила на сторону плащ и, подпрыгнув, склонила к себе ветку, на которой парусилась кисея. Это движение, легкое, быстрое, не оставив во мне никакого сомнения в ее молодости, еще сильнее раздражило мое любопытство. Как накануне, она ушла с наступлением темноты; я долго следил ее глазами: мне хотелось отгадать по направлению ее шагов, куда скрывается неведомая, откуда появляется; но напрасно. Углубляясь в чащу деревьев при мерцающем свете сумерек, она, казалось, тонула в струях вечернего тумана, сливалась с ним, как бестелесное видение, и исчезала, оставив только след безотчетной грусти в душе моей.

Ночная пора навеяла на меня новые грезы, окрылила новой силой воображения, и игрой его воскресился старинный, некогда обольщавший меня вымысел германского поэта о лесной сильфиде, очеловеченной избранным любимцем... Не ты ли тот нежный призрак, создание чистейших частиц воздуха и аромата цветов, чувство без плоти, мысль, едва

облеченная в прозрачные формы, – не ты ли это являешься страннику, заброшенному в царство дубрав твоих, чтоб свеять с сердца его кручину, чтоб усладить горький для него воздух чужбины?.. Долго занимали меня эти детские мечты; при виде незнакомки я любил забываться, предаваясь им, любил нежить ими огрубелое от возмужалости воображение. Ежедневно видел я ее, мою *Гуляющую*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.